

МЛФ.

Звезда

- Михаил Панин
Труп твоего врага. Роман.
- Кингсли Эмис
Горячие токи бунтуют в крови...
Рассказ.
- Из семейной переписки А.А. Ахматовой

1996 (6)

П 34
5

Звезда

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ**

Издается
с января
1924
года

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Ииб

1996(6)

ГОС. ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Лек. № 1
09 100 0412

Санкт-Петербург

Л. М. РАВИЧ

СУДЬБА ВАСИЛИЯ КОМОВСКОГО

Из истории российского инакомыслия

Памяти Натана Яковлевича Эйгельмана

В середине 1820-х годов в Петербурге познакомились и близко сошлись два молодых человека. «Они сошлись... Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой...» — короче говоря, трудно было бы сыскать столь несхожих людей, как эти двое. Тем не менее случайное знакомство перешло в дружбу, пережившую одного из них.

Один из этих юношей — Александр Михайлович Языков — принадлежал к роду старинному, могучему, очень богатому. Как многие русские бары, он имел азиатского предка. Его пращур Енгулей-Мурза-Язык выехал из Золотой Орды на службу к великому князю Димитрию Донскому в середине XIII века. Сын его, Сунгул-Мурза, уже воспитанный в православии, стал называться Захарием Языковым. Он-то и стал родоначальником фамилии.

У отца нашего героя было 20 тысяч десятин превосходной земли в Симбирской и Уфимской губерниях. Украшением этих владений было село Языково в 65 верстах от Симбирска. Там росли дети: три сына и две дочери. Роднились они с такими же столбовыми: Ивашевыми, Бестужевыми, Валуевыми, Наумовыми. Красавица Екатерина, любимица семьи, вышла замуж за А. С. Хомякова, и с ним в клан Языковых влилась еще сильная струя православнофилов, тоже людей, как правило, богатых, родовитых и оппозиционно настроенных по отношению к режиму.

Все три мальчика Языковы — Петр, Александр и будущий поэт Николай по семейной традиции должны были учиться в Петербургском Горном корпусе. Младший Языков, тяготевший к филологии, в 1822 году переехал в Дерпт. Петр продолжал грызть гранит минералогии.

А что делал Александр, без сомнения — самый даровитый из братьев? Светской жизни он не любил — более того, по природной своей застенчивости («дикости», по мнению Д. Н. Свербеева), даже несколько боялся. Зато читал все без разбора и нуждался в разумном руководителе, который сумел бы направить в нужное русло его многочисленные интересы. Александр искал его и нашел.

В 1821 году были подвергнуты чудовищному разгрому университеты, в особенности Казанский и Петербургский. Из последнего в числе прочих уволен был профессор философии, любимый студентами (а ранее — царскосельскими лицеистами) Александр Иванович Галич. Его книга «История философских систем, по иностранным руководствам составленная» (Две части. СПб., 1818) была признана вредною. Инквизитор Рунич, склонный, как все подобные наймиты, к явлениям шизофренического бреда, уподобил эту невинную популярную книгу «тлетворному яду или заряженным пистолетам, положенным среди играющих детей». Приходится еще удивляться, что после такой аттестации (идиотизм которой, впрочем, был

Любовь Моисеевна Равич — специалист по истории русской культуры XIX в. Автор книг «Г. Н. Геннади» (1981), «Собиратели книг в России» (1988), «Евгений Иванович Якушкин» (1989). Живет в С.-Петербурге.

очевиден даже властям) Галичу разрешили читать платные лекции на дому. Без сомнения, он находился под постоянным контролем.¹

Домашние лекции Александра Ивановича Галича были заметным явлением общественной и интеллектуальной жизни Петербурга 1820-х годов. Постоянно посещали лекции Галича и бывшие лицеисты; если не как постоянные слушатели, то как частые гости они охотно заходили к любимому учителю, особенно те из них, которые питали особый интерес к немецкой философии (сам Галич был шеллингианец). Таких петербургских любителей было по сравнению с московскими очень мало, и среди них уже тогда выделялся обширной начитанностью в немецкой философии и романтической поэзии главный персонаж этого повествования — Василий Дмитриевич Комовский. Как мне представляется, его знакомство с Языковым, человеком иного круга (к тому же оба были домоседы), могло произойти именно здесь, у Галича.

Комовские были бедны. Они вели свой род от шляхтича Яна Космовского, которому в 1621 году король Сигизмунд III пожаловал поместье в Смоленском воеводстве. Внуки этого Яна в 1665 году приняли русское подданство (а куда еще было деваться?), а один из правнуков, Осип Борисович, переселился в Малороссию и стал писаться Комовским. Богатое поместье, первоначально пожалованное за верную службу, приходило в упадок, род множился, земли делились, и вот уже об отце нашего героя сообщается в мемуарах современника, что он «был меньшим сыном многочисленного семейства одного из дворян Черниговской губернии». Этому дворянину досталось немного земли, а с ней около десятка ревизских душ. Между тем сам он женился по любви, на соседке Дуне Гвоздевой, они родили четырех сыновей и двух дочерей. Но еще до рождения первенца Дмитрий Комовский решил на серьезный шаг — переезд в Петербург.

Характерно, что небогатые, но честолюбивые малороссы устремлялись из своих хлебных мест в поисках карьеры не в Киев, не в Харьков или Чернигов, а в столицу империи. Если живущие на Украине магнаты вроде Галаганов и Дараганов не стали бы покровительствовать такому вот Комовскому (не то надо было бы взять на себя воспитание всех многочисленных безземельных хлопцев), то в Санкт-Петербурге, где в свое время вершили судьбы Безбородки, Кочубеи, можно было сыскать покровителя. Неизвестно, кого именно нашел Дмитрий Комовский, но в том, что он нашел такого благодетеля, сомневаться не приходится. Достаточно сказать, что старшего сына Сергея он сумел поместить в Царскосельский лицей; Александра через несколько лет — туда же; а Василий окончил Благородный пансион при Лицее. Царскосельский лицей был не тем заведением, которое было задумано первоначально и где должны были воспитываться великие князья. К счастью, этого не случилось, и отпрыски знатных семей не стремились попасть туда. Тем не менее там учились князь Горчаков, барон Дельвиг, внук адмирала Пущин, племянник известного сочинителя Василия Пушкина Александр. Словом, для маленького Комовского попасть в такое заведение было большой удачей. Сергей был довольно нудным малым («лиса», «смола»), любил читать проповеди, учить добронравию, но образ фискала, чуть ли не доносчика и предателя, каким изобразил его Тынянов, — не имеет ничего общего с действительностью. Мальчик просто исполнял то, чему научили дома. Много лет спустя, когда его младший (третий после Василия) брат Александр достиг уже высокого положения в Морском министерстве и был как-то обвинен в зазнайстве, он писал великому князю Константину Николаевичу, очень его ценившему: «В смирении, кротости и скромности — искать прочной основы нетленному достоинству учил меня с детских лет мой отец <...> Завет моего отца: идти в жизни путем правды, чести и нелицемерия, без искательства».² И это были не пустые слова: вся жизнь братьев это подтвердила. Но если Сергей, старший, в детстве и был ябедой (от чего его живо отучили тумаки товарищей), то Василий был ребенком совсем иного склада: молчаливым, сосредоточенным, не по годам серьезным, несветским (в отличие опять же от Сергея, первого лицейского танцора). Хорошо знавший своих питомцев директор лицея Егор Антонович Энгельгардт писал о нем Матюшкину: «Брат его (Сергея. — Л. Р.) ныне из пансиона выпущен с золотой медалью, которую он грудью взял, ибо кроме истинного достоинства и заслуг ничего не употреблял. Есть там и люди, которые отличены за отцовские рубли».³

¹ Об этом см.: Никитенко А. В. Дневник в трех томах. Т.1. М., 1955, с.78.

² Русская старина. 1897, июль. С.159.

³ Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицее. СПб., 1911—1913. Т.1. С.527.

Восемнадцать лет, блестяще окончив пансион, Василий Комовский определяется на службу в Министерство народного просвещения, которым командовал вначале адмирал Шишков, а затем руководил князь Карл Андреевич Ливен. Сначала Василий был младшим чиновником при Шишкове, но с приходом Ливена, заметившего юного полиглота, Комовский уже, до воцарения Уварова, неотлучно находился при этом в общем довольно добродушном начальнике и употреблялся для ведения иностранной переписки.

В конце 1825 (или в начале следующего) года Александр Языков уезжает из Петербурга в свое симбирское имение; завязывается интенсивная переписка, еще более укрепившая их союз и симпатию. По портретам (правда, несколько более поздним) можно представить себе внешний облик Александра. Особенно хороши его последние, уже фотографические изображения: прямой взгляд больших глаз, четкая линия рта... и стариком-то не назовешь. А как выглядел Василий? Есть ли его портрет? И есть, и нет его. Случай не совсем обыкновенный!

В 30-е годы нашего столетия М. К. Азадовский начал подготовку полного собрания стихотворений Н. М. Языкова. Естественно, его заинтересовала фигура первого редактора этих стихов — В. Д. Комовского, тем более, что осуществленное им издание в XIX веке по праву считалось образцовым. В распоряжении исследователя был громадный языковский архив, незадолго до этого поступивший в Пушкинский дом. Среди сотен листов он выбрал около семидесяти — те, которые так или иначе относились к первому изданию произведений поэта и его издателю. Из 69 опубликованных Азадовским писем Комовскому принадлежит 31. Но исследователя не могло не поразить богатство всей этой многолетней переписки, в особенности с Александром Языковым, которой он коснулся только мимоходом. Прекрасный знаток, он сразу оценил сокровище, попавшее к нему в руки. Он счел, что эта переписка «представляет огромнейший историко-литературный интерес <...> Если когда-либо эта переписка будет целиком опубликована, наша историография обогатится вторым „Дневником Никитенко“».¹

Эти прекрасные слова и пожелания Азадовского относились к 1935 году. Письма Николая Языкова и Комовского были напечатаны им в «Литературном наследстве» в томе 19—21, который почти сразу угодил в спецхран. Так их много лет никто и не видел.

При своей статье (заметим, первой и последней, посвященной хоть отчасти Комовскому) Азадовский опубликовал и портрет Василия, где ему лет около сорока. Уж лучшего портрета для своего героя автор и желать не мог: это изящный, скорее, даже утонченный господин, с небольшим ртом, несколько иронической и вместе грустной складки, но главное, что поражает в его лице, — глаза: очень большие, по всей видимости серо-голубые, грустные и вместе прямо глядящие на вас. Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство: точно такой же портрет (не просто похожий, а тот самый) был опубликован ранее в известной книге Гастфрейнда «Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицейю». Там он красуется на 517-й странице, и под ним написано «Сергей Дмитриевич Комовский». Так кто же прав? Свой портрет для «Литературного наследства» М. К. Азадовский позаимствовал из обширнейшей иконографической коллекции Пушкинского дома. Он и теперь там. Что же побудило Азадовского, серьезного ученого, переименовать того господина в Василия? Вот загадка. Ведь никаких аргументов для подкрепления этой версии он не привел. Не представляется возможным, чтобы он не видел книги Гастфрейнда (хотя такие казусы встречаются). Но вот не так давно вышел набор открыток «Пушкин и его современники», и там — портрет мальчика Комовского (естественно, Сергея), и когда кладешь рядом эти два портрета, то, несмотря на разницу в тридцать лет, видишь, что это одно лицо: Сергей Комовский. А жаль. Хотелось бы видеть таким именно Василия. Правда, они, говорят, были похожи: оба хрупкого, изящного сложения, большеглазые... Но ведь не близнецы же. Ясно, что это люди польской крови, хотя Василий скорее считал себя украинцем. Он писал Языковым, в восторге после чтения «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Я хохол по происхождению, хотя ничего малороссийского не видал и не знаю».² А в аннотации к изданной в 1989 году открытке с изображением Сергея в детстве сказано, что он «родился в Петербурге в польской дворянской семье».

Итак, Александр уехал на родину, и началась переписка. Фактически в полном объеме (а это — около 800 листов) она так и не известна историкам культуры. Те

¹ Литературное наследство. Т.19—21. М., 1935. С.39.

² Там же.

немногие из них, кому доводилось познакомиться с ней, извлекали из нее, как правило, лишь те фрагменты, которые работали на их тему. Один лишь М. К. Азадовский заинтересовался личностью Комовского; остальные ограничились его послужным списком. Если следовать хронологии публикаций фрагментов этой переписки, то надо сказать, что первым, кто к ней прикоснулся, был, к сожалению, дилетант — правда, добросовестный, но поверхностный, и это в какой-то мере задало тон всем дальнейшим работам. Это был краевед и посредственный поэт Д. Н. Садовников, носивший громкий титул «певец Волги». Возможно, он был в каком-то отдаленном родстве с Языковыми, во всяком случае, он сообщает, что племянник поэта Языкова передал ему «большой ящик», в котором хранились семейные бумаги. Там были и письма Комовского к трем братьям. «Я, — пишет этот «певец», — воспользовался из них лишь теми выдержками, где говорится о Пушкине, рассчитывая, что для публики небезинтересен взгляд современников поэта на его характер и талант».¹ Сами корреспонденты его не интересовали. Если о Языкове (Алекサンドре) Садовников что-то сообщает, то уж о Комовском — ровно ничего. Хотя письма последнего представляют собой наиболее интересную часть переписки. Это понятно: одинокий как перст в Петербурге, он только и мог излиться в письмах к друзьям, которых судьба забросила на край света. Языковым-то такой острой надобности не было: их было много; у себя в глуши они никого не боялись и вели частенько такие разговоры, которые в столицах были бы невозможны даже в самом близком кругу.

Затем, как уже говорилось, этой перепиской заинтересовался Азадовский — профессионал высокого класса. Возможно, он продолжил бы изучение жизни и деятельности Комовского, но тут наступили крутые времена, его том «Литературного наследства» сняли с полки; до Комовского ли было? Снова шли годы. В середине 1950-х имя Комовского совершенно случайно встретилось мне, тогда — аспирантке Библиотечного института, в связи с началом официальной регистрации произведений печати в России. Оказалось, что это он стоял у истоков столь важного для любой страны информационного дела. Для кандидатской диссертации и это было настоящим событием. Углубляться в изучение личностей обоих друзей я не могла: такой материал не дали бы включить в библиографическую диссертацию. Но выписки (весьма многочисленные) из их переписки я для себя сделала, ибо тогда уже было ясно, что это люди незаурядные, о которых, в сущности, ничего не известно. Все мои тогдашние обращения к влиятельным лицам по поводу издания их переписки не имели никакого успеха. Между тем разные «товарищи» стали понемногу пощипывать этот материал. Так, лет 25 тому назад несколько цитат из нее появилось в 79-м томе «Литературного наследства», посвященного русским песням, собранным писателями. Там Комовский показан исключительно как благожелательный цензурный чиновник. Наконец, также на страницах «Литературного наследства», блеснул подборкой «Гоголь в переписке современников» Л. Ланской, который процитировал мнения Александра Языкова, вовсе проигнорировав Комовского. Так замкнулся круг: от простодушного Садовникова до советского ученого «гоголеведа».²

Переписка Языковых с Комовским, содержащая оживленный обмен мнениями о литературных и общественных событиях 20—40-х годов, не отличается сенсационностью: все, о чем они пишут, мы уже знаем из трудов историков культурной жизни России. Но как, когда, по какому поводу это было сказано, какую оценку получило то или иное событие или лицо, — вот что придает ей первостепенный интерес, ставит ее в уникальное положение даже среди богатого эпистолярного наследия XIX века. Но, может быть, еще важнее то, что в этих письмах вырисовывается тип раннего русского интеллигента, смело и самостоятельно мыслящего, широко образованного оппозиционера. Кроме всего прочего, Комовский и Языков — современники и добрые знакомые Пушкина. А много ли мы знаем о периферии пушкинского круга? В переписке моих героев Пушкин присутствует постоянно; все обстоятельства его жизни им небезразличны. Из их переписки мы узнаем о приездах поэта в Москву и Языково, о его сватовстве и женитьбе, даже о его карточных проигрышах. Естественно, здесь оживленный обмен мнениями о вновь вышедших его творениях, о чтении им еще не изданных, о планах издания журнала

¹ Исторический вестник. 1882, № 11, с. 520.

² См.: Лит. наследство, т. 79. М., 1968. Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского; Равич Л. М. Из истории государственной регистрации произведений печати в дореволюционной России. — Труды ЛГБИ, т. III. Л., 1957; Гоголь в неизданной переписке современников. — (1833—1853). Публ. Л. Ланского. — Лит. наследство, т. 58. М., 1952.

и многое другое. В основном этот материал опубликован Д. Н. Садовниковым в упоминавшейся выше статье «Мнения современников о Пушкине».

Скрупулезно собрав все цитаты, где только упоминался поэт, Садовников (возможно, по цензурным соображениям) упустил самое, может быть, главное. Дело в том, что Комовский по просьбе Языковых добывал где только мог материалы, связанные с дуэльной историей, и посылал им. Такие «досье» на убийц великого поэта собирали некоторые из его друзей; однако активное участие Комовского в этом далеко не безопасном деле, насколько я знаю, не известно пушкинистам. Самих этих материалов в архиве Языковых нет, но имеются письма Александра Михайловича, в которых он благодарит Комовского за их присылку. Так, в письме от 20 апреля 1837 года он пишет: «Вы совершенно дополнили наши сведения о смерти Пушкина. Теперь мы имеем все, что можно иметь, все подробности, записки и наблюдения»¹.

А узнать Комовский мог многое. Он был тесно связан с бывшими лицеистами, был вхож в литературные круги, близкие к поэту, наконец, он имел возможность ознакомиться с официальной точкой зрения на это страшное событие.

Итак, перед нами громадный эпистолярный материал. В силу ограниченности объема журнальной статьи остановимся лишь на самом существенном. О чем же поведали нам эти письма?

Среди министерств и ведомств, образованных в первой половине XIX века, выделялось своей неопределенностью и нелепостью Министерство духовных дел и просвещения. Его шеф — известный мистик князь А. Н. Голицын являлся к тому же главою Библейского общества. На смену ему в Министерство (уже без духовных дел, с одним просвещением на вывеске) пришел в 1824 году радетель старины адмирал А. С. Шишков. Затем кресло министра просвещения занял Ливен, потом — Уваров, за ним — инвалид Бородина Норов и т.д. и т.п. Характернейшей чертой этой череды превосходительств была их полная непригодность для этой роли. За исключением Уварова (человека отвратительных личных качеств, но все же ученого или слышавшего за такового), все они настолько не соответствовали своему креслу, будто их нарочно подбирали по рецепту злоязычного Салтыкова. Поэтому клички вроде «министерство затемнения» или «министерство народного подозрения» отнюдь не были гиперболами. Еще одно обстоятельство делало само существование МНП двусмысленным: при нем находилось Главное управление цензуры. То есть именно то заведение, которому вменено в обязанность — по отношению к просвещению — «тащить и не пущать». Только во второй половине века, спохватившись, власти передали цензурные функции тому ведомству, которое и должно было их исполнять, — грозному МВД. Итак, Министерство народного просвещения с одной стороны как бы просвещало, а с другой — запрещало.

Комовский начал службу в МНП с должности младшего чиновника. Эта должность могла не дать умереть с голоду и холоду только при наличии доброй маменьки и дружной семьи. К счастью, Василию все это подарила судьба. Так продолжалось лет пять или шесть, пока его не заметил министр. Ведь не так уж много было в окружении Ливена знатоков немецкой философии и поэзии. Кто знает, возможно, между ними невзначай произошел неслужебный разговор, который и решил судьбу молодого человека. Во всяком случае, в 1828 году он получил должность Правителя дел Главного управления цензуры, которая как раз тогда и была введена в связи с принятием нового, более либерального (по сравнению с «чугунным» 1826 года) цензурного устава. Появились какие-то новые веяния, казавшиеся благоприятными. Период от виселиц Петропавловской крепости до европейских революций 1830 года был самым спокойным за все николаевское царствование. Но когда на Западе зашевелились «работники», само существование которых как общественный фактор в России ставилось под сомнение, и вышли на улицы своих столиц, требуя перемен, — это сразу отразилось на нашей обширной и процветающей империи.

И тут кончилась спокойная жизнь Василия в МНП.

25 октября 1831 года в «Литературной газете» Дельвига был напечатан перевод стихотворения, отчеканенного на бронзовой медали в память жертв июльской революции. Казимир Делавинь писал: «Франция! Назови мне их имена! Я их не вижу на этом скорбном монументе: они победили так скоро, что ты стала свободной раньше, чем успела их узнать!» Сразу последовал донос Булгарина, вообще неутомимо следившего за соперничавшей газетой. Донос возымел свое действие. В первых

¹ Представленная в очерке переписка Комовского и Языковых хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН (Пушкинского дома), Фонд Языковых. 19, 4.104.

числах ноября Бенкендорф вызвал к себе Дельвига (между прочим, настоящего, а не остзейского барона), как известно, недопустимо грубо накричал на него, пригрозил отправить его вслед за теми, кто уже отправлен куда надо... Дельвиг сохранил внешнее спокойствие и присущее ему достоинство, и это настолько поразило Бенкендорфа, что он принес затем свои извинения, но было уже поздно: Дельвиг, благородный Дельвиг вскоре умер.

Началось расследование: кто разрешил, кто пропустил, где цензор? Цензор Семенов дал исчерпывающие объяснения; в общем, большого шума не было. Но Карл Ливен струхнул. Если уж его цензоры, казалось, науськанные на любое человеческое слово, совершают такие промахи, то надо контроль удвоить, пустив на это дело самого Правителя дел Главного управления цензуры. К слову говоря, эта громкая должность была чисто канцелярской: ее носитель ничего не решал самостоятельно. Он только мог ускорять или замедлять прохождение бумаг, следить за своевременным составлением помесячных, а потом и годовых списков и т.п. И вот Ливен решил представить к должности надзирающего Комовского. Ему и в голову не могло прийти, что тот посмеет отказаться, да еще в категорической форме, ссылаясь притом на закон.

«Когда произошла история с «Литературной газетой», — пишет Комовский Языковым, — Ливен приставал ко мне, чтобы я читал все журналы и доносил или, как хотите, докладывал ему о всем недобром и богомерзком. Наконец, я принужден был сказать ему напрямик, что обязанность доношения не входит по уставу в обязанности Правителя дел главного У<правления> Ц<ензуры>. Это последнее разгорячило Ливена, он сказал мне, что он мой начальник, приказывает мне, и я должен соединять приказание начальника. Я заметил ему, что всегда стараюсь исполнять действия по службе с убеждениями совести и что мне тяжело подсматривать за проступками посторонних... Ливен с тех пор не возобновляет своего требования». Можно себе представить, как это было сказано (ведь случай-то неслыханный!), если проняло сановного немца. Разговоров на эту тему больше не было, но какая-то непереносимая нотка проскакивала порою, так что Комовский всерьез подумывал оставить службу... Но как тогда жить?

«Мужество ваше в единоборстве с Л<ивеном> меня и радует и восхищает, — пишет ему в ответ Александр. — Но сколь многие на вашем месте просто, без зазрения совести сделали бы все, против чего возмутилось ваше нравственное чувство». В приписке к этому письму Николай Языков зорким взглядом поэта подметил еще одно обстоятельство: «Ваш ответ Л<ивену> кажется мне очень благородным и согласным с характером, который вы имеете и который имеет надлежит: он почитал вас тем, что почти все; ошибся, не мстит, не теснит, — след<овательно> сознался; это делает ему честь: *не всякий вытерпит благородство чувств в своем подчиненном*». (Великолепная фраза, прямо на все времена!)

«Какая-то горечь нагорела у меня на душе, — признается Василий. — Мне надо бы вовсе оставить службу, но как я к ней прикован, то по крайней мере буду стараться оставить Ливена». Как раз перед этим умер от холеры его отец, еще не старый человек, опора семьи, и Василию пришлось стать ее главою. Заметим, что ни разу, ни в одном из писем к богатым Языковым он ни словом не обмолвился о той нужде, в которой постоянно находилась его семья. И вот изо дня в день, ему, человеку высокой порядочности и литератору, приходилось быть свидетелем гонений на просвещение и печатное слово, которые он называл «нашествием варваров». Служба была для него источником постоянных терзаний и мучительных раздумий.

В письме к другу Александру он признается: «Я имею дурную привычку всегда и во всем предполагать самое горшее. Да и виноват ли я в этом? Видя, что и как делается, поневоле отвыкнешь от веры в доброе». Так из года в год усиливалась природная меланхолия Комовского.

Но было еще одно обстоятельство, которое незаметно подтачивало его жизнь и терзало его: за ним числился грех юности — такой, который человека с чуткой совестью поднимает среди ночи и обдает холодом. Он невольно выдал товарища, даже не товарища, а просто случайного знакомого. Другой, быть может, давным-давно забыл бы об этом, тем более, что никаких страшных последствий это не принесло.

Юный Комовский, застигнутый на месте преступления (переписывал крамольные стихи), назвал того, кто ему их дал, будучи уверен в его безнаказанности (тот был племянником всесильного министра). В конце концов по закону возмездия пострадал не тот, кто распространял эти стихи, даже не автор (их наказание оказалось не столь уж тяжким, и в зрелые годы они сами рассказывали об этом как об анекдоте), а Комовский. Ни на минуту не забывая о своем постыдном поступке, он старался своими действиями на пользу (точнее, в защиту) просвещения искупить его. И все равно: он заплатил за это самую страшную цену — безумием. Не дай

мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и чума, нет, легче труд и глад... А дальше, читатель, а дальше? — Посадят на цепь дурака... К счастью, с Комовским этого не случилось. В первый раз брат увез его за границу, откуда он вернулся как будто излечившимся, а во второй раз он умер. Как человек.

В 20-х числах июля 1826 года молодой чиновник департамента сборов и податей Лахман увидел у своего коллеги Емельяна Петровича Комовского (кузена Василия) свежие, только что списанные стихи вольного содержания и попросил их, обещая никому не показывать. Придя домой, этот законопослушный молодой немец внимательно прочел их и решил, что это дело так оставлять нельзя. Только что город был потрясен известием о казни пятерых на Кронверке Петропавловской крепости (Россия давненько не видала казней); молодежь, конечно, говорила об этом и хоть, в общем, известных нам откликов на декабрьские события немного, но они были, и было их куда больше, чем дошло до нас. Таким вот откликом было и это «возмутительное» сочинение.

Взойдет ли наконец, друзья,
Среди небес родного края
Давно желанная заря —
Заря свободы золотая?! —

так начиналось это стихотворение. Автор стихов никому не был известен. Видно было, что он усердно читал Пушкина, был смел и предприимчив и не лишен некоторого дарования. Но не это заинтересовало любознательного Лахмана: перед ним маячила возможность выслужиться. Будучи сам маленьким чиновником, он обратился за содействием к своему знакомому, уже вхожему куда следует, — секретарю коллегии Мазалину («известному в органах надзора прямою своего образа мыслей», — как изящно выразился о нем жандарм), и тот сам отвел его к небызвестному фон Фоку, считавшемуся в то время правой рукой Бенкендорфа. Впрочем, этот подручный характеризуется современниками не так уж плохо. Фон Фок не стал раздувать дело, ссылаясь на молодость преступников, и мудро решил, что достаточно будет выявить автора, а всех прочих в той или иной мере оправдать. Был призван Емельян Комовский, который показал, что автора не знает, а стихи списал у своего двоюродного брата Василия Комовского, служащего в Министерстве народного просвещения. Была устроена очная ставка. Василий признался в том, что списал стихи, но автора и он не знал. Тогда на него надели с последним вопросом, обещая в случае откровенного ответа не преследовать ни его, ни того, кто ему эти стихи дал (буде это не автор). Всем этим мальчишкам было лет по восемнадцать; фон Фок имел репутацию благородного человека... Короче говоря, Василий назвал имя: Владимир Шишков. Этот молодой человек, племянник адмирала Шишкова, был в это время в Москве, его оттуда затребовали, и он наконец назвал автора стихов: юнкера Василия Яковлевича Зубова, служившего в Иркутском гусарском полку. Все это дело заняло ровно два дня. Все отпущенные с миром были рады-радехоньки, но не наш Василий. Фон Фок писал Бенкендорфу: «По окончании дела Комовский, чиновник министерства народного просвещения, пришел ко мне с вопросом, какие последствия будет иметь это дело для Владимира Шишкова, осторожно намекая, что если он должен будет пострадать, то он, Комовский, готов взять на себя всю ответственность».² Но этого Комовскому показалось недостаточно, и он написал Владимиру Шишкову покаянное письмо (осевшее в недрах III отделения), которое является образцом настолько редко встречающегося человеческого документа, что мы позволим себе привести его целиком. Но как оно дошло до фон Фока? А очень просто. Пока за Владимиром ездили в Москву (чай, с фельдъегерем!), письмо пришло к нему домой, а жил он у дяди — адмирала и министра. И этот почтенный родственник не только прочел его, но и представил куда следует с такой вот запиской: «Милостивый государь Александр Христофорович! Не безызвестно вам, что племянник мой Володимир Шишков за преступные найденные у него стихи достойно и праведно наказуется. Ныне, при пересмотре по моему приказанию бывших при нем вещей и бумаг, принесено ко мне надписанное на его имя письмо, содержащее в себе нечто, касающееся сих стихов, почему и рассудил я за должное препроводить оное к вашему превосходительству в том намерении, не послужит ли оно, при подробнейшем

¹ Полный текст см.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX в. М., 1970, с.504—505.

² См.: Шадури В. Друг Пушкина А. С. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, с.341 (Приложение).

осведомлении о сем деле, к какому-либо объяснению. С истинным и совершенным почтением имею честь быть вашего превосходительства покорнейший слуга Александр Шишков». ¹ Ай да дядюшка!

Но вот и текст покаянного письма бедного Василия:

«Стыдясь, пишу к вам эти строки, вынужденный внутренним мучением сознания вины непростительной. Не смею ожидать извинения, желаю только знать степень моей виновности, будучи готов всем заглазить свое слабодушие, страшусь, чтоб не было уже поздно. Вот в чем дело: умоляю хотя в последний раз поверить моим словам. Стихи, которые вы позволили мне списать, я, безрассудный, сообщил двоюродному брату, а он прочитал какому-то Лахману, своему знакомому, который, вырвав их у него, списал. Через некоторое время они очутились у Фока, начальника секретной канцелярии. Не хочу подозревать Лахмана, может быть, несправедливо, но из слов Фока заключаю, что они между собою знакомы. Фок приезжал сам и спрашивал брата, от кого он получил стихи; ответ: от брата (т.е. от меня). А я от кого? Не знаю. Фок требовал, чтобы брат спросил меня и дал ему знать. Узнав об этом, я вместе с братом отправился к Фоку с намерением всеми средствами стараться упросить его заглушить это несчастное дело. Но Фок ничем не убеждался. Он сказал, что дело уже сделалось известным начальству и что он не может действовать противно своей обязанности. Я не хотел говорить, что получил стихи от вас; не мог также и сказать неправду, назвав себя сочинителем оных. Он сказал, что мое упорство послужит только к общему вреду, что оно заставит его действовать открыто и мерами понудительной полиции, что зная образ мнений Государя по сему предмету, он уверен, что это будет принято как необдуманная шалость со стороны сочинителя, без особенного злого умысла, и потому хочет все кончить, если можно, без шума и гласности; наконец, он дал честное уверение, что если я открою ему, от кого получены стихи, то он сам поедет к тому лично, спросит, от кого они ему достались, и вовсе не доведет до каких-либо неприятностей, вот собственные его слова: «Если я говорю неправду, то даю вам полное право назвать меня бесчестным человеком». Я положился на уверения Фока, которого, по общим отзывам, почитал благородным человеком, успокоенный в рассуждении вас, слабодушный, я колебался, в волнении нерешимости, ваше имя вырвалось из нетвердой груди моей. Для вас собственно я ничего не опасуюсь, но не знаю ваших отношений к сочинителю стихов (вы сказали, что взяли у него стихи и что он сам у себя их не имеет), не знаю, захотите ли вы открыть его. Лживы или нет уверения Фока, сдержит ли он или нет свое слово, но во всяком случае я изменил вашей доверенности и, мечтая быть достойным оной, запятнал себя безрассудною неосторожностью и низким слабодушием. Не имею ничего в свое оправдание, причем готов на все. Этот поступок, противный чести, тяготеет, гнетет мне душу, сознание оногo грызет совесть. Если вы не решитесь открыть имя сочинителя, то бросьте меня на жертву, скажите, что я показал на вас несправедливо. Моею неосторожностью я вовлек всех в беду, изменив вам, поступив против чести, я не могу, не должен роптать на новое очернение, пусть оно будет искуплением моей вины, я решил — принимаю на себя всю ответственность. Самые обстоятельства могут содействовать к моему обвинению: не трудно подумать, что я, желая отклонить от себя вину, сложил ее на вас и потому, что вы в Москве, и потому, что вы племянник вельможи, который в состоянии защитить вас. Повторяю: я готов жертвовать собою, тем более, что я уже виновен в глазах правительства тем, что имел у себя подобные стихи. Если вы захотите именовать сочинителя, если он, когда писал стихи, готов был и отвечать за них, то могу вздохнуть отраднее, ибо слова Фока заверяют мне вашу безопасность, если же напротив, то я перед вами виноват и должен заглазить проступок. Наружное наказание, может быть, примирит меня с самим собою, внутреннее сознание низкого проступка, если я не буду в состоянии заглазить его, останется со мною, как тягостный укор на будущее время. Желаю только, чтобы мое письмо дошло к вам не поздно! Ради Бога, дайте мне знать, как вы решитесь поступить и должен ли я принять на себя ответственность. Подарите меня, хотя в последний раз, несколькими строками и потом выкиньте из памяти своей воспоминание обо мне, как о человеке, в котором вы думали видеть не совсем низкое сердце — но ошиблись. В. Комовский. 25 июля 1826 года». ²

Писано на другой же день после вызова к Фоку, в «Дело» оно попало только в августе, когда и дела-то уже не было. По всей видимости, Владимир Шишков, находившийся под арестом, его и не прочитал. Судьба этих юношей сложилась

¹ См.: Шадури В. Друг Пушкина А. С. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, с.341—342.

² Там же, с.342—343.

по-разному: юнкер Зубов был объявлен сумасшедшим (любимый фокус Николая I) и три месяца находился в лечебнице, затем был разжалован (уже, надо полагать, как вполне нормальный). В 1830 году произведен в унтер-офицеры, затем выслужил и офицерский чин и его жизнь вошла в норму. Он не раз выступал в печати со своими стихами, но, уж конечно, вполне цензурными. Еще менее отразилась эта история на биографии Владимира Шишкова. Его тоже признали сумасшедшим (очевидно, полагая, что это заразно), но вскоре выпустили. В 30-е годы он жив-здоров и занимается хозяйством, — точнее, проматывает наследство. В общем, никаких трагических последствий малодушие Комовского никому не принесло. Но его самого оно мучило до самой смерти. Если мы вспомним, с какой непонятной для современного человека откровенностью «раскалывались» декабристы — все почти офицеры, а не вчерашние школьники, и редкие из них (Якушкин, например) вспоминали об этом с сожалением, то надо признать Комовского человеком с такой чуткой, такой ранимой совестью, которая превосходила нормы его времени. Например, младший брат его Александр в 1830-е годы постоянно бывал на вечерах А. С. Шишкова, не испытывая при этом ни малейшего смущения. Василий же буквально, как пишет хорошо его знавшая женщина, «никуда не ездил, не любил ничего светского» и, кроме Александра Языкова, никого не впускал в свой внутренний мир. Но эта ужасная история оказала и положительное воздействие: она закалила его характер. Та война со всемогущими министрами, которые могли его пальцем раздавить, та борьба за звание порядочного человека, которой окрашена его недолгая жизнь, — это тоже оттуда, от истории с юнкером Зубовым.

И это еще не все. Не только мучениями совести, приведшими его в конце концов к душевной болезни, отозвалась в душе молодого мечтателя эта история. Он старался всю жизнь ставить палки в колеса той машины, к которой был «прикован». Он дает знать Полевому о готовящихся гонениях, он предупреждает Надеждина, он буквально вырывает у цензуры уже было отвергнутую самим автором вольнолюбивую «Новгородскую песнь» Языкова, он воюет с Очкиным и Никитенко за пропуск народных стихотворений, собранных Киреевскими, удерживает Уварова от попытки запретить продажу иностранных сочинений. Всю жизнь он положил на то, чтобы замолить грех молодости, и не уважать это нельзя.

Письма Комовского просто поражают смелостью. (Недаром Языковы не раз просили его быть осторожнее, но куда там! Можно подумать, что он, как в том покаянном письме, считал, что должен пострадать!) Его критика российских порядков беспощадна. Кстати, это еще раз свидетельствует о том, что между «дворянскими революционерами» и незаметными, никому не известными оппозиционерами не было большой разницы в восприятии реалий российской действительности. Уж если такой убежденный славянофил, как Хомяков, считавший Россию избранной и призванной на великое поприще, вместе с тем ясно видел, что она

В судах полна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна
(«России» — 1854 г.), —

то что уж говорить о Комовском. На вопрос Александра Языкова, на чью сторону он склоняется в «занимательной» борьбе западников и славянофилов (а к последним примкнула вся семья Языковых, кроме Александра), Комовский дал ответ, весьма ясно характеризующий его общественную позицию. «На чью сторону я склоняюсь? Стараюсь не склоняться, а стоять прямо. Я желаю, чтобы наша Русь была Русью; я верую и исповедую, что нам есть спасенье и без немцев. Но с одной стороны хочу, чтобы определительнее и точнее сказали мне, в чем состоит истинно русское, а с другой не могу согласиться, что бытие Запада ложно в основе своей» (письмо от 8 июля 1845 года).

Современная историческая наука уже выявила несколько таких личностей, которые, служа в самых одиозных учреждениях, умудрялись делать добро людям и по мере сил служить культуре. Таков, например, благожелатель Пушкина Павел Миллер, о котором поведал Н. Я. Эйдельман — доверенное лицо Бенкендорфа и враг режима. И это, конечно, не единичный случай. Ведь тот факт, что Герцен с поражающей оперативностью получал сведения о русских событиях, вплоть до тайных заседаний Государственного совета, куда не допускались посторонние, говорит о том, что таких, как Миллер, было много, — и ох как мало мы о них знаем!

Л. Я. Гинзбург, ученый тонкий, ироничный, от глаз которой мало что могло скрыться, писала: «При Николае (особенно в пору «мрачного семилетия») люди

правительственного аппарата подразделялись на мерзавцев, полумерзавцев и полупорядочных. Мерзавцы с помощью мракобесия продвигались выше и душили также и по собственной инициативе. Полумерзавцы мракобесием удерживались на своих местах и душили по приказанию. Полупорядочные от полумерзавцев отличались тем, что приказать им можно было почти все, но не все без исключения. Для некоторых надобностей их не употребляли. Что же делали порядочные? — они не принимали участия. У них были имения, и они имели эту возможность.¹ И это — из записей не 30-х годов, а 1950—1980-х! Как бы ни был умен и порядочен ученый, ему, как, скажем, Тынянову, никуда не скрыться от воздуха своего времени, того, которое его сформировало:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить...

Только вот поэт понимал это, а ученые — не до конца.

Вот Герцен (иногда полезно глотнуть именно этого воздуха): «В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всеми гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются, и если умирают на подороже, то не все умирает с ними... Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей».² В ту армию чиновников, которой всегда была богата Россия, особенно во времена Николая I, когда кроме министерств и ведомств постоянно создавались всякие комитеты и подкомитеты, — просто невозможно было набрать нужное количество мерзавцев или полумерзавцев. Служило много молодых людей (как в статской, так и в военной службе), иные в достаточно заметных должностях. Вряд ли все они были потенциальными негодьями. Думаю, как раз наоборот. Не может существовать страна, правящий класс которой состоял бы из одних мерзавцев. Этого не было даже при большевиках.

Ни народ (никто, впрочем, не знает, что это такое), ни чиновничество нельзя представлять себе по «Ревизору» или «Мертвым душам», как это делали советские научные работники, полагавшие, будто это — реалистические произведения. Вообще даже и так называемый «критический реализм» в целом нельзя приравнивать к документальному материалу, как это у нас принято. Жизнь была куда сложнее, и далеко не все ее проявления (хотя бы даже просто по цензурным причинам) могли быть отражены в литературе. Нет, не Бенкендорф, не Булгарин, а наивный портупей-юнкер, целящийся из пистолета в портрет тирана, — вот Россия Комовских.

Ю. М. Лотман, комментируя «Евгения Онегина», отметил как уникальное явление тот факт, что герой романа не служил в военной службе, обязательной как будто для дворянской молодежи. А сам Пушкин, а Дельвиг, а Кюхельбекер, а десятки лицейцев всех выпусков, а Вульф, а Языковы? Перечислять можно без конца. А кто же, наконец, служил по статской — одни Акакии Акакиевичи, что ли? Тут важно другое — что он вообще не служил. Но у него было имение, и он подходит под классификацию Л. Я. Гинзбург. А что было делать тысячам обедневших дворянских сыновей? Выходит, для них в перспективе в лучшем случае было уготовано ампула полупорядочных? Согласиться с этим невозможно. И снова Герцен: «По-видимому, поток был остановлен, Николай перевязал артерию — но кровь переливалась проселочными тропинками».³

Было плохо, было очень страшно, но люди оставались людьми. Они негодовали, они стыдились своей страны — и что-то пытались делать!

Несмотря на пережитый ужас своего предательства, несмотря на то, что он, как никогда, усомнился в своих нравственных устоях, — Комовский во второй половине 1820-х годов жил относительно спокойно. Он много занимался немецкой филологией, критикой и поэзией, приступил к переводам монографий Шлегеля и Менцеля.

Выход в свет его перевода книги Фридриха Шлегеля (СПб., 1829) вызвал оживленный отклик в русской периодической печати. Он расценивался современниками как значительное явление умственной жизни.

Рецензент «Московского телеграфа» писал: «На русском языке мало являлось донныне столь полезных книг, как перевод «Истории новой и древней литературы», соч. Фр. Шлегелем. Мы ожидаем большой пользы от этого перевода и просим

¹ Гинзбург Л. Я. Из записей 1950—1980-х гг. Даугава. 1989. № 1. С.99.

² Герцен А. И. Собр. соч. В 30 тт. Т.5. С.32—33.

³ Там же, с.32.

читателей наших обратить на оное особенное внимание. Незнакомые с подлинником сей книги найдут здесь чтение самое поучительное<...>. Появлением таких книг должно дорожить и учиться у них. Всякому, кто только имеет возможность, советуем прочесть Шлегеля. Время, употребленное им на сие чтение, не погибнет втуне».¹

Совершенно очевидно, что рецензия была адресована читателю демократическому, не знающему языков (во всяком случае в таком объеме, чтобы одолеть труднейший научный текст), читателю, дорожающему своим временем и ищущему путей для самообразования.

С таким же энтузиазмом было встречено и второе детище Комовского — «Немецкая словесность» Вольфганга Менцеля (СПб., 1837—1838). Даже зубоскал Сенковский, мало для кого находивший тон, лишенный издевки, писал: «Надобно миром благодарить того умного человека, который перевел его нам на русский язык, и так хорошо перевел».²

Обе книги были снабжены предисловиями переводчика, и его мысли о литературной критике не устарели и по сей день. Предваряя монографию Шлегеля обращением к русскому читателю, Комовский выражает мнение, что «ничто так не вредит столько истинному чувству художественному, как привычка и упорство познавать создания искусства по наперед составленным философическим началам. Дух теряет способность принимать творение со всем жаром и волнением чувства свежего и, так сказать, жить им так же, как жил сам художник». Еще резче эта мысль выражена в предисловии к книге Менцеля (не забудем, между ними десять лет, для Комовского тяжких и унесших последние иллюзии): «Главный недостаток критики Менцеля, — пишет он, — состоит в подчинении поэзии и вообще словесности политике или даже понятиям или духу политической партии». Можно подумать, что это писано в недавнее «перестроечное» время. А ведь прошло полтора столетия! Каким же шагом назад представляются мнения так называемой передовой критики середины XIX века!

Между тем в недрах Министерства народного просвещения происходил подспудный процесс, который Василий почуял и рассмотрел раньше многих. Под прочное, казалось бы, кресло князя Ливена подкапывался человек совсем иного склада: умный, умеющий выжидать интриган, начисто лишенный этических понятий — Сергей Семенович Уваров. Он сумел угодить Николаю как своей «русской» идеей-лозунгом «Самодержавие, православие и народность», так и запиской о крепостном состоянии, будущую отмену которого он ставил в зависимость от просвещения народа (по-видимому, под его эгидой). В начале 1832 года он получает должность товарища министра народного просвещения, а в марте следующего — возделенное кресло министра.

В своей высокоинтересной (хоть и не бесспорной) книге «Право на поединок» Я. А. Гордин рисует Уварова настолько злобещей фигурой, что можно поверить в то, что ему удалось всех обмануть, обольстить. Но вот что пишет Василий Александру: «Ув<аров> лезет на министерское кресло, с которого Лив<ен> встает, — вот почему и прикидывается он любителем русского. Этим можно-де выслужиться» (письмо от 9 апреля 1832 года!). Это Бенкендорф (больше из лени) или Плетнев (которому должно быть стыдно) восхищались Уваровым; это Николай был доволен обещанием внутреннего мира; но те, кто видел этого негодяя вблизи, — ни на минуту не обольщались по поводу причин его православия вкупе с «народностью». Нельзя не согласиться с Гординым, когда он пишет: «Сергию Семеновичу нужны были свои люди, свой успех. Свои люди, всецело ему обязанные, его новая знать, его кондотьеры. Он начал собирать своих людей с самого начала, как только пошел вверх».³

Совершенно естественно, что взгляд его упал на Комовского. Уж если туповатый Ливен его отличил, то умный Уваров тем более сразу захотел иметь его в своей команде. И начал он не с оскорбительных для чести Комовского поручений (для этого было, как еще ранее писал Языков, много других), а с выражения доверия: мы-то с вами понимаем... «И что к вам пристал Уваров? — негодует Языков. — Помыкает вас всюду, а не видно, чтобы повышал вас рангом или украшал знаками отличия». Это помыкание состояло в основном из составления всевозможного рода записок на тему воспитания, книжной торговли и вообще дел просвещения. Был ли дан ход хоть одной из них — неизвестно. Довольно скоро выяснилось (Комовский не умел

¹ Московский телеграф, 1829, ч.34, с.504.

² Библиотека для чтения, 1838, ч.29 (Литературная летопись), с.31.

³ Гордин Я. А. Право на поединок. Роман в документах и рассуждениях. Л., 1989. С.219, 324.

притворяться), что ему «никак не сойтись с У<варовым>, потому что этот готов душить по природной склонности. Сострадание уж верно его не остановит» (16 октября 1833 г.). То есть в каком-то отношении был хуже Ливена. Тогда Уваров, зная тяжелое материальное положение Комовского, решил его попросту купить. Вдруг, обойдя других претендентов, он назначил его в 1838 году директором своей канцелярии.

«Судьбе или случаю, — с удивлением пишет друзьям Василий, — было угодно бросить меня на новую колею: меня сделали директором канцелярии министра просвещения. Называю это делом судьбы или случая, потому что моего содействия было ни на грош. За десять минут до объявления Уваровым, что он хочетверить мне эту должность, я даже не знал, что он меня выбирает». Но из этого нового демарша тоже ничего не вышло. В уваровскую команду Комовский не вошел, да и войти не мог, и, когда через два года (1840) Василий Дмитриевич заболел тяжелым нервным расстройством и взял продолжительный отпуск для лечения за границей, Уваров сразу предложил его место историку М. П. Погодину. Тот было согласился, но предъявил такие непомерные требования, что министр взял назад свое предложение, и Комовский вернулся к исполнению своих обязанностей, но уже ненадолго; второй приступ болезни (1851) оказался смертельным.

Но еще до воцарения Уварова начались худые времена для МНП и Комовского. Кончились двадцатые годы, начались самые темные. Хотя Блок называл — и вполне справедливо — сороковые годы «роковыми», но тридцатые были еще хуже. Сколько смертей, да каких смертей — наслала судьба!

Тон писем Василия по сравнению с предшествующим пятилетием резко меняется. «Гонения на ум русский» — вот отныне лейтмотив их.

«Настает снова черная година для русской словесности, снова возвращаются темные времена Голицына и Красовского, — пишет он в январе 1831 года. — Последняя неделя минувшего года и две недели нового наложили порядочные кандалы на просвещение (если это слово позволено у нас употребить) — и то правда: нам просвещение не пристало».

«Не радостны вести, которые вы получите от меня на этот раз, — читаем мы в письме от 24 февраля 1832 года. — Гонения на литературу начались с новой жестокостью и новой неловкостью<...> Европейец запрещен — и вот консидеранты приговора над ним: в статье «XIX век» он говорит о высшей (?) политике слова: просвещение значит свобода, деятельность разума — революция, искусно отысканная середина — конституция. В статье «Горе от ума» — оскорбление пребывающим в России иностранцам! А потому К<иреевско>му как неблагонадежному и злонамеренному запретить журнал! Вы этому не поверите!» Но приходилось верить... Для Комовского, как литератора, это тоже был сильный и непоправимый удар. Ведь в это время он усиленно искал другого, не казенного заработка, чтобы наконец освободиться от МНП, и как раз Киреевский хотел иметь его постоянным сотрудником (Греча и Булгарина, также предлагавших работу, Комовский, естественно, отвергал). Для Киреевского он приготовил уже большую статью о скандинавской литературе, мало тогда известной в России. В «команде» Киреевского Василий Дмитриевич сразу был принят как свой, хотя они познакомились только в сентябре 1831 года. Через несколько лет, уезжая за границу для работы в архивах, Петр Киреевский сообщает брату Ивану, что в спешке в Петербурге успел повидаться только с самыми близкими людьми: «Жуковским, Одоевским, Титовым, Веневитиновым, Комовским, Вяземским, Пушкиным, Соболевским, и весело мне было видеть, что они истинно любят тебя, по тому дружескому привету, с которым они меня встречали».¹ Вот в какой отборной компании оказывается наш герой. К тому времени он — человек известный и уважаемый: он присутствует на знаменитом обеде Смирдина (и отнюдь не как официальное лицо; покрупнее его лица из МНП не были приглашены); его присутствия на своих раутах с маниакальным упорством добивается смешной, но далеко не глупый граф Хвостов; особенно желает его иметь в числе авторов многоопытный Фаддей Булгарин (вот уж у кого был глаз на ценных сотрудников). На это Комовский замечает в одном из писем: «Фаддею Венедиктовичу надобно быть побиту, но эта всеми ощущаемая потребность еще не удовлетворена» (апрель 1831 г.).²

Комовский находился в центре событий. Благодаря ему его друзья и круг их доверенных приятелей быстрее всех узнавали «приятные» новости, исходившие сверху. А они шли да шли нескончаемым потоком.

¹ Лит. наследство, т. 79. М., 1968. С. 44.

² Лит. наследство, т. 19—21. М., 1935. С. 44.

Сообщая Николаю Михайловичу Языкову о судьбе одного его стихотворения, поступившего на рассмотрение в Главное управление цензуры (обычно это означало, что цензор лично не хотел брать на себя ответственность и передавал текст «коллегии»), Комовский рисует сатирическую картинку: «Ваше наставление поэту поступило на решение цензурного ареопага. Лив <ен> сначала было воскликнул: уж этот Языков, допишется он до беды себе и Дерптскому университету, в котором студировал! Однако звуки лиры вашей умягчили этого Саула, и он пробормотал наконец, что можно, конечно, растолковать эти стихи в дурную сторону. <...> Заметьте, впрочем, что в заседании управления, когда судили вас, не было Блудова, на котором лежит обязанность мыслить, до следующего же заседания я не решился отложить представление о вашей пиесе, ибо в оное должен впервые явиться член от Бенкендорфа, именно Мордвинов».

И он, оказывается, очень предусмотрительно поступил. Вот что пишет об этом экземпляре Никитенко: «После М. Я. фон Фока (вспомним, что он поступил в истории с юнкером Зубовым лучше, чем это сделал бы кто-либо другой. — Л. Р.) сделан членом тайной полиции некто А. Н. Мордвинов — вроде нравственной гарпии, жаждущей выслужиться чем бы то ни было. Он в особенности хищен на цензуру. Ловит каждую мысль, грызет ее, обливает ядовитую слюною и открывает в ней намеки, существующие только в его низкой душе».¹

У нас привыкли с пренебрежением относиться к теории малых дел. Но вот такие ежечасно совершаемые невеликими людьми подвиги просвещения — они-то и поддерживали то, что мы называем культурой. Война (иначе не скажешь) Комовского за пропуск, например, народных песен, собранных Киреевскими, — это подвижничество малого деятеля — дорого стоит.

11 марта 1845 года из Симбирска Александр Языков пишет (понял наконец!): «Теперь мы видим, как трудно провести невредимо через цензуру творения наших рапсодов и каких хлопот мы вам наделали <...> Вы сделали все, что могли и были должны сделать по сердечному расположению вашему к просвещению и народности». Конечно, если бы не запрет духовной цензуры (над которой не властен был и Уваров), — Комовскому, вероятно, удалось бы протащить этот сборник, но тут уж была глухая стена. Только в 1848 году, пользуясь бесцензурностью «Чтений в имп. Обществе истории и древностей Российских», Бодянский тихонько напечатал их там, и никто этого не заметил. Недаром Пушкин называл цензуру «богомольной старой дурой». Беда только, что стареть — стареет, да все не умирает окончательно. Как Кашей Бессмертный.

Когда Уваров в 1835 году задумал ряд мер, направленных против продажи иностранных сочинений, официально запрещенных в России (а тот факт, что их можно было, особенно имея рекомендацию, свободно купить — отнюдь не был секретом), — Комовский подал пространную и очень убедительную записку, в которой доказывал, что эта мера ни к чему не приведет, кроме фантастического удорожания таких книг: те, кто покупал их прежде, будут делать это и впредь (а то и привозить тем или иным образом из-за рубежа), то же подавляющее большинство, которое их не покупает и не читает, вообще никак не будет затронуто этим ненужным запрещением. Узнав о беде, грозящей «Московскому телеграфу», к которому Уваров с некоторых пор чересчур внимательно присматривался, Комовский просит Языковых дать знать об этом Полевому (что было, понятно, небезопасно). «Жаль, — пишет он, — не только жаль, даже беда, если запретят «М<осковский> Т<елеграф>», который как бы то ни было есть лучший русский журнал. Здесь система доносов вкралась в литературные занятия и чрезвычайно усилилась» (письмо от 4 февраля 1831 г., посланное, очевидно, с оказией, впрочем, с него стало бы послать и по почте). Полевой предупреждению не внял: полагался на свое умение ладить с сильными мира сего.

Чем дальше, тем настойчивее звучит в письмах Комовского мотив бессилия и напрасно прожитой жизни. Это совсем не значит, что он смирялся. Просто он понимал, что имеет дело со стихией. Вот одно из самых спокойных по тону сообщений: «На цензуру и литературу поднялась нечаянно невзгода. Этого рода нашествия варваров неизбежны и всегда возобновляются от времени до времени, нужно благоразумное терпение».

Русский человек — более того, русский чиновник, он так привык жить в атмосфере абсурда (того, что Салтыков называл «административным восторгом»), что иное посчитал бы за странность. Чем оно нелепее, тем было роднее. Однако сам он этого благоразумного терпения проявлять не умел, и чем дальше, тем менее.

¹ Никитенко, указ. соч., т.1, с.138 (запись от 9 января 1834 г.).

В 1845 году был издан новый Уголовный кодекс, в котором утверждалось введение в России смертной казни (шпицрутенов Николаю показалось мало). Комментируя в письме к Александру Языкову это событие, Комовский, как будто вдруг оглянувшись, замечает: «Странная земля — наша Русь православная! Тысячи недостатков, ежедневно, ежечасно ощущаемых, остаются без исправления, а перемены веков совершаются по причуде первого встречного. Когда в Европе юристы и криминалисты добросовестно и осторожно толкуют о необходимости уничтожить смертную казнь — у нас вводят ее без всякого повода, без нужды. С одной стороны кажется, будто смертная казнь введена наперекор Европе, а с другой можно подумать, что кнут уничтожен (и поделом) как бы страха ради европейского. Да разве плети не то же истязание, что и кнут? Велика ли разница? Слова! Слова! — как говорит Шекспир!» (11 ноября 1845 г.).

Думаю, небезынтересно отметить, что почти буквально то же писал о новом Уложении ссыльный декабрист Иван Пущин: «Я просто уничтожен этим подарком для России, — пишет он Н. Д. Фонвизиной. — Совестно видеть, что государственные люди, рассуждая в нынешнее время о клеймах, ставят их опять на лицо с корректурною поправкою; уничтожая кнут, с невероятною щедростью награждают плетями, которые гораздо хуже прежнего кнута!»¹ Возмущение Комовского имеет еще тот оттенок, что он, сидя в центре, понимает, что все это происходит «по причуде первого встречного», а это еще страшнее.

Об отношении Комовского к действиям правительства свидетельствует и рассказ А. В. Никитенко, посетившего его летом 1850 года, т.е. за год до смерти Василия (оба снимали дачу в Кушелевке и могли побеседовать на свободе). Речь шла о новом комитете по надзору за сочинениями «по части наук и воспитания», только что вышедшем из какой-то очередной «фаршированной головы» (о том, в какую сумму обходились все более нищавшему государству эти детские забавы, уж лучше помолчим). «Был вчера у Комовского, — записывает в «Дневнике» Никитенко. — Он тоже сильно огорчен этим новым учреждением и с жаром выражал свое негодование. В Европе напроказят, — заметил он в заключение, — а русских бьют по спине».² Естественно, что с еще большим возмущением отнесся Комовский к организации так называемого бутурлинского комитета, поставленного над всеми цензурными инстанциями и искавшего крамолу чуть ли не в Евангелии. «Когда мерзавцы и невежды, подобные Магницкому и Руничу, воздвигали гонения на ум русской, — писал он Языкову, — то это еще можно было понять. Но Бутурлин, Дегай, Корф, кажется, сами писатели, должны же чтить ум и жизнь умственную и понимать, что это такое» (письмо от 11 мая 1848 г.).

Итак, наступали роковые сороковые годы. Кто куда попрятался, а Василий — в безумие. В чем заключалась его душевная болезнь, в точности неизвестно. Во всяком случае, выполнять служебные обязанности он не мог и получил (впервые в жизни) длительный отпуск для лечения за границею. Вначале он поехал один, потом, когда стало известно, что ему сделалось хуже, старший брат Сергей помчался выручать его — и помог. Помог, вероятно, одним своим присутствием, они дружили. Во всяком случае, Василий поправился до такой степени, что его можно было знакомить с европейскими знаменитостями, не боясь уронить имя русского. Известный дипломат, военный историк и критик Варнгаген фон-Энзе, жена которого была прославленной салонной львицей и в доме которых кого-кого только не было (из русских: Тютчев, Жуковский, Вяземский), вспоминал в своих записках о необычайно содержательных беседах с В. Д. Комовским — «о философии, о истории и литературе, Шеллинге, Гегеле и русских порядках».³

В 1841 году Василий Комовский вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, но отношения его с министром все более и более обострялись. Уваров требовал от него участия в каких-то грязных делах, связанных, надо полагать, с литературным сыском. «Благодетельное мое начальство, погрязнув само в мутной луже, тянет меня туда же на борьбу позорную». Так сформулировал он это обстоятельство. Комовский имел мужество и на этот раз категорически отказаться, и взбешенный Уваров велел ему подать прошение об отставке. Затравленный, больной Комовский, для которого служба была единственным источником существования (да и не для него одного, а целой семьи), отказался уйти добровольно. «Я объявил, — пишет он Языкову, — что не подам просьбу иначе, как по принуждению, и буду

¹ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С.212.

² Никитенко А. В. Цит. соч. Т.1, с.336.

³ Рус. архив, 1875. Т.2., стб. 349.

просить разобратъ причину этого насилия». На такой скандал, при котором неизбежно вскрылись бы неприглядные даже в глазах властей делишки Уварова, он не пошел, тем более, что нетерпеливый самодержец все менее к нему благоволил.

Я не знаю, продолжал ли Комовский службу при преемниках Уварова (формально продолжал), но в 1850 году его душевная болезнь возобновилась с новой силой, и 14 июля 1851 года Василий Дмитриевич Комовский скончался.

Ему было 48 лет. За тридцать лет службы в МНП он не скопил ничего. Когда он умер, оказалось, что в доме (обремененном к тому же долгами по постройке) нет буквально ни копейки и похоронить его не на что. Сохранилась бумага, озаглавленная так: «О пособии на погребение действительного статского советника Комовского», в которой испрашивается позволение Государя похоронить его на казенный счет, как «не имевшего состояния».¹

А вот как его похоронили: невзирая на генеральский чин, пожалели купить кусок землицы и зарыли в ту же могилу на холерном кладбище, где двадцать лет назад был похоронен его отец. Затем это место было признано вредным, полностью перепахано и уничтожено, и мы даже не знаем, где покоится прах нашего героя.

У Комовского не было ни жены, ни детей. Вся нежность его прекрасной души была отдана младшим братьям, да еще единственному другу — Александру Языкову, близость с которым столько лет скрашивала его жизнь и поддерживала его дух.

«Комовский человек очень хороший, с душою чисто шиллеровского покроя. Он тонок всем: станом, чувствами, умом; тонок до того, что вряд ли может удержать какую-нибудь крепкую истину, не согнувшись».² Это — запись в «Дневнике» Никитенко. Разумеется, воспринимать это всерьез после всего, что мы знаем, — нелепо. Да и сам Никитенко противоречит себе, ибо тут же пишет, что уже близко сошелся с Комовским. Но ощущение хрупкости Комовского создавалось и у других современников. Он был слишком непохож на других. Известная в свое время писательница Е. А. Драшусова писала в своих воспоминаниях, что он «не любил ничего светского, никуда не ездил, был выше житейских дряг и волнений и весь был поглощен делом, но в свободное время переводил с немецкого. Его перевод истории литературы Менцеля считался очень хорошим».³

Василий Дмитриевич Комовский принадлежал (по привычной схеме) к либеральной дворянской интеллигенции. Политический радикализм был ему чужд. Но еще более чужды, отвратительны, неприемлемы были для него российские порядки, где рослый тупица — царь говорил гению «ты», где не было даже намека на права гражданина, где перлюстрация переписки мужа с женой считалась дозволенным делом.

Сам Пушкин, который, казалось бы, за десятилетие близости ко двору должен был как-то уже «обколотиться», писал, как мы знаем, возражая Чаадаеву: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».⁴

Но печатное выступление Чаадаева было явлением совершенно уникальным (до сих пор никто не объяснил толком, как это вообще могло произойти); изливание гражданских чувств можно было позволить себе лишь в доверительной беседе или еще более доверительной переписке.

«Тайное соглашение понимающих было велико. — свидетельствует Герцен. — Круги, составленные из людей, больше или меньше испытывавших на себе медвежьей лапу правительства, смотрели чутко за своим составом. Всякое другое действие, кроме слова, и то маскированного, было невозможно, зато слово приобрело мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полицией».⁵

Поэтому такую важность (как для современников, так и для историков) имеет эпистолярный материал той эпохи. Дневники были редким явлением (это было опасно), а мемуары, как правило, писались задним числом, людьми пожилыми, многое уже забывшими и простившими. (Не говоря уже о том, что иные из них просто недостоверны.)

¹ РГИА, ф.733, оп.3, ед. хр. 60, л.58.

² Никитенко А. В. Цит. соч. Т.1. С.234.

³ Рус. вестник, 1881. Кн.Х. С.730.

⁴ Пушкин А. С. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969. С.156.

⁵ Герцен А. И. Собр. соч. Т.8. С.392.

«Нация рабов, — бросил осужденный Чернышевский, — снизу доверху все рабы». Так, да не так. И, хоть это далеко не самый яркий пример, — письма Комовского показывают, что рабство вовсе не было неизбежным следствием деспотизма. Маленький человек (в табели о рангах), он сопротивлялся как мог, в меру своих невеликих сил и возможностей; он не давал — и не дал превратить себя в раба. Вероятно, при других обстоятельствах, при материальной независимости, которая освободила бы его от ненавистной службы, — он был бы благонамеренным гражданином, добрым барином, отцом крепостных и занимался бы, подобно богатым Языковым, мирным просветительством (тоже, конечно, делом важным и нужным). А возможно, что он, с его душою «чисто шиллеровского покроя», стал бы вторым изданием Ленского и пал, стрелой пронзенный, как тот, в восемнадцать лет, кто знает? Стрела может прилететь откуда угодно... Все было бы лучше того, что ему досталось... Бедняк, сын титулярного советника, в сущности, по социальному статусу разночинец — «бедный Евгений» (невзирая на чин действительного статского советника и принадлежность к древнему роду), он вынужден был вращаться в среде, хоть и не сломившей его дух, но исковеркавшей его жизнь.

Человек глубокого ума и больших познаний, ничего не принимавший из вторых рук, споривший с корифеями немецкой романтической философии, одинокий петербургский любомудр — он не захотел стать послушным винтиком той машины, к которой был прикован без надежды на освобождение. И она его убила. Походя, даже не заметив...

То впечатление тонкости и хрупкости, которое Василий Дмитриевич Комовский производил на наблюдательных современников, — то были не только его личные, но и родовые черты той «прослойки», которая позже получит не переводимое ни на один язык чисто русское название — «интеллигенция». Я, конечно, отнюдь не хочу принизить культуру, образованность, благородство его друга Александра Языкова. Все это он имел даже в избытке (если тут возможен избыток), но он обладал и чертами, вовсе отсутствовавшими у Комовского: уверенностью в нужности того дела, к которому он был призван, отсутствием излишней рефлексии, твердой укорененностью в том общественном слое, к которому принадлежал по праву рождения.

Что такое, в сущности, интеллигенция? На этот вопрос еще никто не дал вразумительного ответа. Даже знаменитые «Вехи», которые прямо называются «Сборником статей о русской интеллигенции», не дают хоть сколько-нибудь четкого определения этого понятия. Даже истоки его неясны авторам «Вех», под крышей которых были собраны лучшие русские умы того времени. Один называет ее «дочерью петровских реформ», что, конечно, совершенно неубедительно; другой называет духовным отцом русской интеллигенции Белинского, в то время как он уже сформировался в ее лоне. Мне представляется (я не философ и не социолог и поэтому могу предложить только личное мнение), что первой группой интеллигентов, более или менее оформившихся в «прослойку» (ужасный термин, взятый напрокат из кулинарной книги, но, к сожалению, укоренившийся), был кружок Веневитинова, любомудры. Будь Комовский москвичом, и он принадлежал бы к этому содружеству. Его отличительными признаками, отделившими его от последующих групп интеллигенции, было равнодушие к социалистическим идеям и отсутствие нерассуждающего народолюбия-«мужикобесия». Эта порча уже затронула кружок Станкевича, из недр которого вышли такие классические типы интеллигентов, как Белинский и Грановский (очень к тому же разные). Несмотря на николаевское лихолетье, интеллигенция хоть медленно, но развивалась, устояла и оказывала где явное, где подспудное влияние на русское общество. Казалось бы, что с концом николаевщины она должна была занять в нем лидирующее место, но случилось иначе. Ведь это Россия... «Качает черт качели мохнатою рукой» — и вместо подлинной интеллигенции на авансцену выскочила и заняла положение властителей дум кучка крикливых, наглых, абсолютно не ведающих сомнений, изрекавших безапелляционным тоном свои приговоры молодых недоучек, которые, считая себя судьями литературы и имея в своем распоряжении два влиятельных журнала, распространяли по всей стране свои идеи. Они считали себя наследниками Белинского, но были, как правильно заметили еще современники, лжеучениками. И дело даже не в том, что они взяли от Белинского самое слабое, сделав упор на социальном содержании и «пользе» (Белинский, отравленный социализмом, все же никогда не забывал, что имеет дело с произведениями искусства). Дело в том, что Белинский был вынужден так поступать: в николаевские времена отделы критики и библиографии в журнале были единственной трибуной, где можно было что-то высказать «по поводу». В 60-е годы такой необходимости уже не было: журналы получили возможность говорить о русских порядках весьма свободно; в большинстве из них был введен специальный раздел «Внутреннее обозрение», и литературный критик мог заняться своим кровным

делом. Но для этого нужны были качества, которыми вовсе не обладали новые властители дум, бесчувственные к красоте и глухие к поэзии. Ведь были же тогда и настоящие критики: Дружинин, Анненков, Аполлон Григорьев... Но их голос не был так громок. Кто, в основном, были читателями «Русского слова» и «Современника»? — молодежь: студенты, семинаристы, гимназисты, молодые чиновники, армия провинциалов. Они жаждали свежего, нового, смелого слова — и с удовольствием съели те экстремистские плоды, которые им подносили любимые органы печати.

И эта вакханалия, это низведение культуры до роли служанки «освободительного движения» продолжалось не менее полувека: ведь еще в начале XX столетия выученик этой публики В. В. Стасов громил мирискусников и обзывал гениальные полотна Врубеля «безыдейной мазней». И только с началом так называемого «серебряного века» началось восхождение подлинной интеллигенции к законному своему месту... Но уже времени оставалось чуть-чуть...

Если бы была полностью опубликована переписка Комовского, стало бы ясно, что от него тянется пусть тонкая, но четко различимая нить к мыслителям начала нашего века, а следовательно, и к нам.

Но есть еще одна важная вещь, о которой поведала нам переписка Языкова с Комовским. Это — дружба. Прекрасная мужская дружба, продолжавшаяся более четверти века, прервать которую смогла только смерть.

Тех, кто держал в руках переписку моих персонажей, думаю, не могла не поразить сама тональность этих писем, глубокое уважение друг к другу, серьезность (не исключавшая, конечно, блесок юмора), которыми они проникнуты. Тут нет и тени того амикошонства, того барского изящного сквернословия и игры непристойностями, которые постоянно встречаются в переписке людей одного с ними круга. Если положить рядом письма моих героев и эпистолярные послания, скажем, Дениса Давыдова или Сергея Соболевского (пушкинское, заметим, окружение), то может показаться, что они писаны в другой стране и в другую эпоху. Этим они тоже могут быть интересны и поучительны для историка и просто любознательного читателя, интересующегося культурой прошлого. Если только мы дождемся их опубликования. Но даже из этого небольшого очерка, полагаю, ясно одно: Василию Комовскому давно пора занять скромное, но подобающее ему место в агонизирующей (но еще живой!) отечественной культуре.